

УДК 316.772.5



А.К. Дегтярев

**СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ
ТРАВМА В ФОРМИРОВАНИИ
РОССИЙСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ**

A.K. Degtyarev

**THE SOCIO-CULTURAL
TRAUMA IN THE FORMATION
OF THE RUSSIAN IDENTITY**

В статье представлена авторская позиция по проблеме идентификационных стратегий российского населения. Автор на основании актуализации концепции социокультурной травмы приходит к выводу, что «травмы сознания», восприятие коллективного опыта как имеющего депривационные эффекты на градацию идентичностей, проявляются в российском обществе как нейтрализация социальной травмогенности, включение идентичностей социального микроуровня и позиционирование отношения к российской идентичности как макроидентичности на социально-презентативном, но не социально-консолидирующем основании.

Ключевые слова: *социокультурная травма, идентичность микроуровня, конструирование идентичности, макроидентичность, российская идентичность, исторический социальный опыт.*

This article presents the author's position on the issue of identification strategies of the Russians. On the basis of the actualization of the concept of social and cultural trauma, Author concludes that «the trauma of consciousness», the perception of collective experience as having deprivational effects on gradation identities, is manifested in Russian society as neutralization social traumagenity, the inclusion of the micro-level of social identities and the positioning of Russian identity as macro-identity on socio-presentational, but not socio-consolidating foundation.

Key words: *socio-cultural trauma, identity micro-level, identity construction, macro-identity, Russian identity, the historical social experience.*

А.К. Дегтярев

Доктор философских наук, профессор кафедры социологии и психологии Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова (г. Новочеркасск).

© Дегтярев А.К., 2013

A.K. Degtyarev

Doctor of Philosophical Sciences, Professor of Department of Sociology and Psychology of the Platov South Russian State Polytechnic University (NPI) (Novocherkassk).

© Degtyarev A.K., 2013

Польский исследователь П. Штомпка полагает, что процесс социальных изменений содержит травмирующий эффект, т. е. связан с разрушением традиционной социальной среды, эрозией нормативно-ценностных оснований социальной жизни и сложностями в социальном самоопределении индивидов и социальных групп. Согласно позиции П. Штомпки, стремительный, насильственный характер социальных изменений вынуждает к адаптации в новых социальных условиях [1, с. 474], радикально отличающихся от предшествующих форм социальной жизни. Социальные изменения включают не только смену общественных укладов жизни, но и вызваны насильственными конфликтами, войнами, геноцидом, депортацией, вынужденной миграцией.

Пережитый опыт массовых индивидуальных страданий воплощается в исторической памяти поколений, определяет отношение к будущему, к собственной судьбе, к тем, кто представляется коллективным виновником катастрофы, и к тем, кто является сочувствующей или нейтральной стороной.

Дискуссии по поводу формирования новой российской идентичности не могут быть плодотворными вне контекста социокультурных травм, переживаемых российским обществом и в отношении радикальных экономических реформ и геополитической катастрофы, распада Советского Союза. Либеральный взгляд на российскую историю как историю подавления личности и утверждения государственной деспотии заявляет о безальтернативности подхода рассматривать постсоветское общество как общество «с чистого листа», общества, в котором еще предстоит длительный путь социокультурной модернизации, определяемой и становлением новой институциональной системы, и формированием личности современного типа, рациональной, исповедующей принципы политкорректности, чуждой проявлениям этноцентризма, ксенофобии, изоляционизма.

Консервативная трактовка «естественной» истории российской государственности обращается к аргументам исторической непрерывности, органичности исторического развития, характеризует современное российское общество в утверждении принципов державности, соборности, исторического визионизма. К позиции консерваторов примыкают сторонники коммунистической идеи, предлагая различные реинкарнации почвеннической идеи.

Несмотря на высокий накал дискуссионности, практик исторической ревизии, создается впечатление, что сфера формирования национальной (русской) идентичности оценивается исключительно по критерию конструирования, индоктринации социальных и исторических мифологем: социокультурная травма как ощущение исторической катастрофичности и социальной дезориентированности относится к «инородным» условиям, не признается, что негативный исторический и социальный

опыт российского общества определяет идентификационный выбор, содержит диссонанс между намерениями самоопределения и восприятием сложившихся социальных реальностей.

По нашему мнению, если идентификации играют роль системного ответа на вызов истории [2, с. 5–22], то следует рассматривать структуру идентификации, осмысления идентификационного выбора под влиянием травмирующих событий. Запрос на формирование российской политической идентичности является «опережающим» в том смысле, что конституирует идеальный тип идентичности, возникающий вне конфликтных социально-политического и этнополитического полей, подразумевает, что решена проблема «разделенности» русского народа, что сформирована новая государственная объединительная идеология.

В реальности в российском обществе наблюдается не кризис идентичности, а возникновение травматических идентичностей. В первую очередь это проявляется в негативной идентификации, переходе идентичностей на социальный микроуровень, ограничениях идентификационного притяжения семьей, кругом близких, коллегами по работе. Индивидуализация идентификационных стратегий связана с тем, что высок уровень институционального недоверия, что если и существует позитивный рейтинг социальных и политических институтов, с этим не связывается социально ориентирующее влияние, самоопределение на основе ассоциированности с политическими, социальными институтами, позитивная оценка укладывается в представление о «порядке» или «духовности» как утраченных в результате исторического коллапса традициях.

Таким образом, речь не идет о восстановлении идентичности как формы связи с внешним миром, обладающей консолидирующим и мобилизующим воздействиями на настроения и восприятие «модального» гражданина. Институциональный авторитет определяется исторической памятью безотносительно к актуальным идентификационным стратегиям. Очевидно, что за основу идентификационного выбора принимаются привычные, упрощенные категоризации социального пространства: запрос на макроидентичность ослабевает, так как новый социальный порядок не гарантирует удовлетворения чувств безопасности и солидарности. Восстановление идентичности понимается как способ самосохранения и саморазвития в условиях привыкания, но не легитимации социальной реальности. Другими словами, эта реальность воспринимается как внешний мир, но оценивается негативно, не признается ее способность сделать жизнь человека упорядоченной, комфортной и уверенной.

Как подчеркивает Е.Н. Данилова, вместо когнитивных механизмов чаще работают эмоции [3, с. 344]. Выбор эмоционального контекста, по нашему мнению, является следствием травмированности массового сознания, так как «катастрофа», воплощающая распад Советского Союза,

воспринимается как историческая несправедливость, роковая случайность, как свидетельство иррациональности или слабости правящей элиты, и рефлексивный момент, определяемый способностью интерпретировать события не «катастрофической» лексикой, а с позиции социального обновления или становления новых идентичностей, оценивается невысоко, не определяется как образец самоутверждения и самореализации.

Исторические предпочтения россиян, их выбор в пользу периодов «расширения индивидуальной сферы и социального благополучия» (наибольший «позитив» вызывает брежневский период) [4, с. 28-29] выявляют склонность включать историческую память не в качестве ресурса для формирования новой символической идентичности: в градации исторических оценок доминирует стремление избежать травмирующего эффекта распада страны, не рассматривать трагедийный аспект в качестве повода к коллективному раскаянию и тем более не видеть в этом путь коллективно-духовного очищения.

Возложение на российское общество признания исторической вины за «преступления», совершенные российским государством по отношению к другим народам, вызывает неприятие и отторжение в российском обществе, так как историческая память связана с «самопожертвованием», с суровостью быта, с утратой близких, с политическими репрессиями, с тем, что не вызывает образа народа-поработителя, народа-колонизатора, чье национальное богатство и благополучие являются результатом отношений господства и высокомерия к другим народам.

Н.В. Коровицына пишет о том, что еще во второй половине 1950-х гг., после окончания периода сталинизма, для восточноевропейцев утеряла свою универсальность и национальный смысл советская модель развития [5, с. 280]. Попытка реализовать модель исторической политики, особенно практикуемая польской политической элитой в отношении России, представляет модель повышения конкурентности идентификационных притязаний путем внедрения чувства исторической вины, прежде всего российского общества, и легитимации собственных политических и экономических претензий в современном мире, как исторически травмированного общества. Н.В. Коровицына ясно показывает, что если и говорить о периоде политического диктата, то для стран Восточной Европы это совпало с завершением гегемонистского советского проекта.

Можно отметить, что в российском обществе наблюдается формирование новой российской идентичности, вызванной распадом Советского Союза [6, с. 275]. Поэтому вполне объяснимо стремление освободиться от чувства исторической вины, рассматривать предшествующий период истории, если и в негативном контексте, то признавая солидаризацию на основе исторических «обид», утрат, понесенных обществом в процессе демонтажа Советского государства. Характерно, что чувство неудовлетво-

ренности проецируется не на потерю «общей родины», а того, что «люди моей национальности много потеряли за последние 15–20 лет» [6, с. 275]. Российская идентичность, таким образом, оценивается не по качеству консолидации общества: в ее восприятии и оценке доминирует травмогенность, тревога в условиях утраты групповых идентичностей стать жертвой беззакония, произвола, свойственных периоду слабой или кризисной государственности. Иначе говоря, российская идентичность воспринимается как «неизбежный», но не обязывающий формировать отношение к обществу адаптивный вариант. Травмогенность, наоборот, усиливается под влиянием социальной поляризации общества, потери интегративных социальных ценностей, аномии политических институтов. На этом фоне «сожаление о прошлом» модифицируется в принятие позиции «от меня ничего не зависит», идентичность, таким образом, становится маркером «стабилизации самочувствия», избавленного, с одной стороны, от аскриптивных характеристик, с другой – не внушающих интерес к самоутверждению через включение в новую коллективную общность.

Основываясь на том, что, судя по оценке значимости исторических периодов и для россиян, главными в ориентации на общество являются семья, близкие, народ, принадлежность к семье и нации, можно было бы говорить о несовпадении идентификационных позиций. Однако в отличие от восточноевропейского варианта формирования политической идентичности в российском обществе сформировалось государство, но не политическая нация, консолидированная не только общей исторической судьбой, традициями, но и приверженностью к демократическим и достигательным ценностям и идеалам. Так как взгляд на государство как гарант всеобщего блага подвергается эрозии в контексте снижения ценности государства как идеального конструкта общественной жизни, реальным оплотом становится семья. Травмогенность выражается в том, что вместо поиска новых форм социального самоопределения общество отступает к микроидентичностям, ориентированным на создание индивидуальных оазисов спокойствия, но стимулирующих предкатастрофическое сознание, восприятие ситуации как лично стабильной, но не определенной и предвещающей тревоги с позиции нацеленности общества на грядущие бедствия [7, с. 71]. Если предшествующий советский период, несмотря на неравнозначность исторических оценок, воспринимается как жизнь в обществе, ориентированном на будущее, для идентификационных предпочтений россиян свойственно желание «возрождение державности», но при этом слабо просматривается чувство гордости за настоящее, что усиливается вбросом в общественное сознание «веры в превосходство русской души» или европейской неполноценности России [8, с. 204].

Конечно, историческая мифология играет роль в принятии сценария «отчуждения» России и противопоставления европейской идентично-

сти российской «нецивилизованности», народном духе как духе лени, пьянства и праздности [8, с. 145]. Другими словами, стремление стать «европейцами» теряет смысл для большинства россиян, так как образ русского как «коллективного другого», несовместимого с рациональностью, культурой и свободой, оказывает травмирующее воздействие и в немалой степени способствует утверждению в общественном сознании особого пути развития России как формы коллективной самозащиты.

Это принципиально важный момент в идентификационных стратегиях россиян: отказ от ситуации «быть учеником Европы» или «кандидатом в европейцы» ведет к возрастанию чувства коллективного одиночества, но так как новый социальный порядок не легитимирован, как порядок социально справедливый, идентификационный выбор связан с нейтрализацией внешних влияний, стремлением рассматривать российскую идентичность как выбор «отклонения», как позицию «быть россиянами» в контексте сохранения чувства национальной гордости, несмотря на осознание «исторической трагичности». Таким образом, не подвергается сомнению ценность патриотизма, но «гордость и достоинство» интерпретируется как право быть другими в условиях реализации разделительных барьеров между Россией и остальным миром на основе интолерантности, приписываемой российскому обществу. Другими словами, россияне осознают, что от них требуют терпимости к другим формам общественной жизни, в то же время проявляют раздражение и непонимание по поводу того, что российское общество ощущает травмированность в связи с потерей государства и страх относительно своего цивилизационного будущего. Практически в настроениях российского общества не преодолен надлом «упущенных» возможностей, следование страны по наихудшему пути социального развития, что воспроизводит эффект постоянного «ожидания кризиса», несмотря на стремления к новой репрезентации российской идентичности.

Поэтому политика конструирования государственного патриотизма путем «возгонки» негативной мобилизации содержит двойственный эффект: с одной стороны, укрепляется чувство примирения с государством как воплощением «своей» власти, какой бы коррумпированной и неэффективной она ни оценивалась, с другой – растут настроения социального анархизма, скепсиса в оценке возможностей государства в его актуальном состоянии удовлетворить запросы общества, включить механизмы позитивной солидарности. «Самоутверждение от противного» порождает мигрантофобию, социальную агрессию и социальное недоверие, так как является коллективным ответом «атомизированных» индивидов, не ощущающих иного способа консолидации, кроме как репрезентации «способности дать отпор».

Травмирующий эффект выражается в том, что углубляется чувство потери коллективности: обращение к истории, культуре повышает само-

чувствие в оценке «других» (ресурс великого прошлого), но создает позицию беспомощности во влиянии на современность и тем более формировании будущего. В массовом сознании укрепляется катастрофизм, безвозвратность взлета национального духа и возвращения к позициям державы: будущее воспринимается либо как «постепенный распад», либо как сценарий «конца страны».

Таким образом, российское общество не преодолело травмогенную ситуацию: практики ревизии истории показывают неспособность политической элиты на основе диалога с обществом предложить конструктивную идентификационную матрицу, не довольствоваться использованием исторического ресурса для повышения легитимности социального порядка на основе присвоения исторических достижений или диффамации конкретных периодов истории. Если доминирующие социальные идентичности связаны с позитивной самооценкой [3, с. 347], можно констатировать, что новая российская идентичность может сформироваться только в процессе реальных социальных сдвигов, повышения качества жизни россиян, расширения возможностей самореализации, формирования модели взаимных обязательств личности и государства. В сложившемся базовом комплексе групповых идентичностей россиян наибольшей устойчивостью обладают идентичности микроуровня, менее подверженные травмогенному воздействию, не связанные с историческими переживаниями.

Это в определенной степени рациональная идентификация: катастрофический опыт, опыт геноцида, войн, преследований способствует тому, что народ стремится к «тому, чтобы ужасное прошлое не повторилось», чтобы была создана среда безопасности, будь то национальное государство (Израиль) или мощная, обладающая влиянием диаспора (Армения). Для россиян особенность снижения травмирующих воздействий заключается в том, что, несмотря на сжатие территории, на потерю статуса мировой державы, сохранилась государственность, какие бы сомнения по поводу исторической преемственности ни выдвигались. Речь идет в основном о том, что травмированность определяется потерей принадлежности к сильному, уважаемому в мире государству и утратой чувства социальной уверенности через социально-опекунскую роль государства.

Иначе говоря, базовая идентификационная матрица связана с принадлежностью к государству как определяющему идентификационному выбору. Самоопределение на основе семьи и других структур социального микроуровня, конструируя привыкание к новым условиям, не избавляет от потери коллективных смыслов, социальной пассионарности. Согласно концепции П. Штомпки, проявляются три уровня культурной травмы: биографический, коллективный и культурно-цивилизационный [1, с. 475]. Затрагивая в основном биографический, индивидуальный уровень, связанный с ориентацией индивида в российском обществе на микроиден-

тичности, мы полагаем, что формирующиеся микроидентичности, несмотря на эффект «освобождения от травмы» путем отклонения тревог и утрат «большого мира», в реальности усиливают дезорганизованность в обществе, так как конкурирующие микроидентичности «заявляют об интересах», интерпретируемых как частные, не значимые для других индивидов. Иными словами, возникает ситуация конфликтности интересов, при которой государство воспринимается как носитель всеобщего блага, но атомизированное общество не ощущает чувство солидарности с государством, так как не испытывает отношение к государству как источнику всеобщей воли.

Конкретизируя эту мысль, можно сказать, что последствия идентификационного кризиса не укладываются в схему преодоления посткоммунистической травмы, создания системы альтернативных целей и ценностей рынка и демократии. Для массовых настроений в российском обществе, притом что 39 % респондентов полагают, что Россия «должна жить своим умом и идти своим путем» [6, с. 86], отрицая «догоняющую модернизацию», не артикулированы ни цели, ни варианты социально-политического пути развития по особому российскому «сценарию».

Создается впечатление, что подобная позиция декларирована, с одной стороны, смягчает социальное самочувствие по поводу неопределенности с будущим российского общества, с другой – создает социально-терапевтический эффект по поводу того, что состоявшиеся изменения не привели ни к социальной гармонии, ни к экономическому росту, ни к повышению внешнеполитического авторитета России.

Глубина когнитивного диссонанса в мировоззрении россиян выражается в том, что независимо от партийных и идеологических пристрастий мир, в котором живут россияне, оценивается как поле конфликтующих интересов, где важность воображаемых «сообществ» (гражданской, политической нации) признается как желаемая перспектива, но реально блокируется встраиванием в социальные отношения микроидентичностей, воспроизводящих модель неучастия в реальных социальных практиках, подтверждаемых принадлежность к определенным группам, имеющим социальную референтность.

Переинтерпретация истории, ориентированная на формирование чувства исторической общности, утверждение ценности государства и власти, патриотизма, имеет позитивный позыв для общественной жизни, но проблема состоит в том, что массовое сознание «травмировано» осознанием потери «исторической миссии», того, что, несмотря на трудности и лишения, придавало жизни предыдущих поколений и гордость за великие свершения, и чувство принадлежности к исторической нации. Неудовлетворенность отсутствием порядка в стране, рост коррупции, падение морали, утрату чувства безопасности [6, с. 346] можно определить как

«видимые» последствия утраты социальной перспективности: судя по социологическим данным, российское общество в большей степени «страдает» идентификационным неврозом, не может согласиться с тем, что, не являясь «европейцами», можно встроиться в современный мир как общество исторического поражения. Стоит обратить внимание и на тот факт, что распад Советского Союза вызывает неприятие тем, что каждый второй россиянин считает, что перестройку вообще не следовало проводить [6, с. 94], полагая, что последовательная сдача позиций в международном сообществе и демонтаж государства под видом борьбы с партийной диктатурой привели к политической и духовной катастрофе. А это обстоятельство формирует в российском обществе позицию, что восстановление «исторической нации» неосуществимо, даже при оптимистических оценках по поводу развития экономики и роста социального благосостояния.

Главное, что по сравнению с восточными европейцами и народами бывшего СССР путь евроинтеграции кажется невозможным, так как это требовало бы переопределить культурно-цивилизационную идентичность, стать буржуазной потребительской нацией, поставить под сомнение исторический путь развития России и довольствоваться маргинальным положением «европейского рубежья». Цинический гедонизм, о котором пишет П. Штомпка как о массовой реакции на идентификационный кризис [1, с. 485], внешне содействует вовлечению россиян в потребительские практики, укрепляет безразличие к вопросам политики, истории, культуры, но в том же значении продуцирует многочисленные фобии и страхи, связанные с тем, что общество переживает период «неприкаянности», что в этой ситуации для россиян «плохая власть» является оптимальной потому, что в обществе жива память об опыте перестройки, о безответственных и популистских лидерах, о массовом «предательстве» советским номенклатурным классом интересов страны.

Поэтому возможный путь преодоления кризисности идентичности через гражданскую активность, совместные практики, организуемые новыми лидерами, «красиво смотрятся», не вызывая энтузиазма в обществе. Травмированность массового сознания определяет большую динамику чувства беспомощности, чем удовлетворенности результатами реформ [6, с. 135-136]. Социальная агрессия, неверие и ритуализм выступают различными формами стратегии отказа от «макроидентичностей». Так как самооценка россиянами своих достижений в жизни не коррелируется с достижениями российского общества, а исторический ресурс по влиянию усиливает противоречивость позиций и не выстраивается как сценарий для формирования будущего, можно констатировать, что становление и развитие российской гражданской идентичности делают востребованными «отвлечение от истории», завершение политики «ревизии истории», чтобы сосредоточиться на реальных проблемах, волнующих и объединяющих

россиян, которые, несмотря на, казалось бы, профанный смысл, определяют социальное самочувствие (качество образования, здравоохранения, социально-экологические проблемы, укрепление общественной и личной безопасности). Опыт народов, переживших ситуацию геноцида, потери государственности или этнических преследований, хотя и не может быть механически приложенным к российскому обществу, свидетельствует о том, что реальный путь обретения идентичности – это путь отказа от самовывживания и понимания ущербности собственной истории в том смысле, что историческая аргументация обязывает ориентироваться на реальные достижения в культуре, науке, образовании, обеспечении национальной безопасности, а память о массовых жертвах является уроком поколений: во-первых, не допустить повторения трагедии, во-вторых, не дать возможность забыть прошлое ради конъюнктурных выгод и интересов и, в-третьих, рассматривать российскую идентичность как форму придания обществу статуса исторической субъектности, относиться к «российству» как программе солидаризации общества и определения общей ответственности за судьбы страны.

Примечания

1. *Штомпка П.* Социология. М., 2005.
2. *Наумова Н.Ф.* Жизненная стратегия человека в переходном обществе // Соц. журн. 1995. № 2.
3. Социальные трансформации в российском обществе: теории, практики, сравнительный анализ. М., 2005.
4. *Горшков М.К., Шереги Ф.Э.* Молодежь России: социологический портрет. М., 2010.
5. *Коровицына Н.В.* С Россией и без нее. Восточноевропейский путь развития. М., 2003.
6. *Горшков М.К.* Российское общество как оно есть. М., 2011.
7. Катастрофическое сознание в современном мире в конце XX века. М., 1999.
8. *Нойманн И.* Использование «другого». М., 2003.